

АНТИКВИЯС



ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК МИХАИЛА БУЛГАКОВА

АНОНИМУС
Тайный дневник Михаила Булгакова



© АНОНИМУС. Текст, 2022

© Исаев Д.А. Оформление, 2022

© ИД СОЮЗ, 2022

© ИП Воробьев В.А., 2022

© ООО «ЛитРес», 2022

Пролог

Старший следователь Волин

Дорого бы мы дали, чтобы узнать, чего ждал от жизни старший следователь Орест Витальевич Волин на четвертом десятке законно исполнившихся ему лет. Старшие следователи, как известно, – люди удивительные, рядовым гражданам не чета. Наверняка они строят наполеоновские планы, лелеют какие-то особенные мечты и ждут чего-то необыкновенного – чего-то такого, что простому обывателю и в страшном сне не приснится.

Но, видимо, и среди старших следователей встречаются исключения. К таковым, судя по всему, относился и Орест Волин. Несмотря на свой статус, ничего особенного от жизни он не ждал. Не ждал, что выиграет в лотерею миллион, не ждал, что усыновит его Роман Абрамович или хотя бы Ким Кардашьян влюбится в него по уши и сделает ему такую же пластику, как у нее самой. Не надеялся он даже на то, что ближе к пенсии назначат его главой отдела вместо полковника Щербакова, который к тому времени умрет от старости и болезней.

Ничего этого, повторяю, не ждал работник Следственного комитета Орест Волин. Но менее всего он ждал того, что случилось утром в понедельник, и, прямо скажем, удивило его, и даже слегка перевернуло его представление о культурной жизни города. Нет, странно было не то, что человека убили – это случается, к этому привыкли даже обыватели. Не удивляло и то, что убили его в тишайшем музее Булгакова – что ж, видели мы и не такое, не зря квартира эта зовется нехорошей. Но то, что труп после этого встал и ушел своими ногами – такого, извините, не было даже в его богатой практике.

– Что значит – ушел? – переспросил Волин у работницы музея средних лет, взволнованной рыжей дамы с потеками туши на

заплаканном лице. – И куда, простите, он мог уйти?

– Боже мой, да мне-то откуда знать, – закричала та, нервно дергая глазом, – разве он меня спрашивал, куда ему идти?! Нет, не спрашивал, даже не поинтересовался, просто встал и ушел. Но если все начнут вставать и уходить, то что же это будет?! Как тогда жить бедной женщине – я вас спрашиваю, дорогие посетители? Где пиетет к святому месту, где уважение к старшим?

И она неожиданно зарыдала, размазывая по физиономии остатки туши. Волин на миг опешил, потом вспомнил, что поклонники Булгакова вообще отличаются некоторой непредсказуемостью, так что на всякий случай надо быть начеку. Стараясь говорить голосом тихим и успокаивающим, он попросил отвести его в комнату, где был найден труп. Пока его вели по музею, который показался ему каким-то запутанным, Волин поглядывал по сторонам.

– Из экспонатов ничего не похитили? – полюбопытствовал он.

– Ах, ничего я не знаю, ничего-то я не знаю! – заламывая руки, отвечала музейная мадам. – Но если и так, я не удивлюсь, нет, не удивлюсь! Убили и похитили, похитили и убили!

И на глазах у нее снова выступили слезы. Следовательно чертыхнулся про себя: не хватало еще с припадочной возиться, ну как таких берут на работу в музеи?

– А, может, в музеи только таких и берут! – вдруг проговорил кто-то мерзким голосом.

Волин изумленно завертел головой. Но вокруг никого не было.

– Это вы сказали? – спросил он у музейщицы.

– Да, наверное, – отвечала та растерянно. – Больше ведь некому. А что я сказала, простите?

Волин только головой покачал.

– Меня, кстати, Катерина зовут, – утерев слезы и улыбаясь жалобно, вдруг объявила дама. – Можно просто Катя. А вас как изволите величать? – Старший следователь Волин меня величать, – отвечал он. – Можно просто Орест Витальевич.

Она снова улыбнулась, на этот раз кокетливо. И тут Волин вдруг обнаружил, что Катя – совсем еще не старая женщина и даже по своему интересная. Может, пригласить ее в театр? Да вот хоть прямо сегодня вечером. В МХТ, на «Белую гвардию» пригласить – почему бы и нет?

Тут он случайно ударился ногой о какой-то комод, и от боли в голове у него прояснилось. Ах ты, черт, подумал он ошеломленно, наваждение какое-то. Квартирка и впрямь нехорошая, надо быть поаккуратнее: оглянуться не успеешь, как очнешься в постели с незнакомой женщиной. Или, может, дело не в квартире вовсе, а в самой этой рыжей Катерине? Нет, правда, чего это она такая рыжая? Под Маргариту косит? А разве Маргарита рыжая была? Кажется, это Гелла была рыжая. Или Маргарита тоже? Тут Волин понял, что вконец запутался, и решил не думать о всякой не имеющей отношения к делу ерунде.

Здесь, кстати сказать, наконец стало ясно, отчего дорога по музею оказалась такой длинной: рыжая Катя не повела его прямо к месту происшествия, а привычно дала круг по всем комнатам, попутно пытаясь провести экскурсию. При этом Булгакова она называла не иначе, как гением.

– Вот это – письменный стол гения, – говорила она голосом, чуть вздрагивающим от охвативших ее чувств. – Здесь гений писал свои гениальные произведения. А жена его... как же ее бишь? Татьяна Николаевна Лаппа... Или не Татьяна Николаевна, или уже Любовь Евгеньевна? Или все-таки Татьяна Николаевна? Черт их разберет, этих жен, – сказала она с неожиданной злостью. – Одним словом, гений писал, а все остальные – буквально весь мир – все, все сидели у него на шее.

В другой комнате Катя обратила внимание следователя на трюмо, в котором при жизни гения наверняка отражался его бессмертный облик.

– Но сейчас тут ничего не отражается, – заметила она. – Это потому что покойники в зеркалах не отражаются, а Булгаков, как ни

крути, покойник.

И какие-то диковатые искорки заплясали в ее глазах.

Тут Волин окончательно потерял терпение и вежливо, но решительно попросил сразу двинуться к месту происшествия. От такой грубости у Катерины глаза снова сделались на мокром месте, но спорить она не стала.

– Вот, – сухо сказала она, заводя его в очередную комнату, – тут он и лежал, прямо рядом с пианино.

На миг у Волина мелькнула шальная мысль, что речь все еще идет о писателе, который, возможно, упал здесь, застигнутый подлой болезнью уремией, от которой задолго до того скончался его отец, Афанасий Иванович Булгаков. Однако сразу стало ясно, что почтенное семейство Булгаковых тут и вовсе ни при чем: Катя говорила о том самом любителе погулять после смерти, ради которого и явился в музей старший следователь СК.

Волин поглядел туда, куда указывала музейщица, но, как и следовало ожидать, никакого тела там не увидел. Зато он увидел нечто другое – нарисованный мелом контур, каким обычно обводят покойника перед тем, как удалить его с места происшествия.

– Это кто нарисовал? – удивился следователь. – Это вы нарисовали?

– Да как вы могли такое подумать! – Катерина, похоже, смертельно обиделась. – Как можно тут рисовать? Ведь это священное место, тут жил великий русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков...

– Хорошо-хорошо, – торопливо перебил ее Волин, боясь, что она снова начнет петь гимны гению. – А кто еще, кроме вас, был в музее, когда вы обнаружили тело?

Оказалось, что никого, кроме Кати, тут не было, потому что сегодня понедельник, то есть выходной день во всех музеях – в том числе и в музее Булгакова.

Волин хмыкнул. Но кто же тогда нарисовал контур? Убийца?

– Убийца, – согласилась Катя. – Или даже сам покойник.

Волин поднял бровь: это, простите, как?

– Это очень просто, – с готовностью отвечала та. – Предположим, его убили. После этого покойник лежал немного, потом очнулся, встал и нарисовал контур.

– Но как он может нарисовать контур вокруг самого себя? – Волин долго сдерживался, но тут все-таки разозлился.

– А как он мог встать и уйти после того, как его убили? – резонно заметила Катерина. – Это вас не удивляет, господин следователь?

Волин поиграл желваками.

– Хорошо, – сказал он. – Расскажите все по порядку, с самого начала. Вы пришли в музей и...

Катерина немного приосанилась.

– Да, – сказала она, – разумеется, я пришла в музей. Но я сделала это не сразу.

То есть как это – не сразу? Частями, что ли?

– Нет, не частями, – она поглядела на Волина с обидой. – Просто сначала я зашла в кафе – выпить чашечку кофе. Я всегда пью кофе перед началом рабочего дня, это заряжает меня энергией... – Итак, вы выпили чашечку кофе и зашли в музей, – Волин попытался вернуть ее к сути дела.

– Ничего подобного! – гордо возразила Катерина. – После кафе я направилась в магазин, мне нужно было купить кое-что. Это предметы интимного назначения, и я бы не хотела раскрывать свои маленькие тайны... Впрочем, если следствие пожелает, я могу предоставить чеки на все имеющиеся у меня покупки. И, более того, могу даже показать цветные фотографии всего, что я в тот день приобрела – лишь бы только это помогло установить истину.

Она игриво стрельнула глазками, но Волин был уже так взбешен, что гипнозу не поддался и только зубами заскрипел.

– Давайте-ка, – процедил он, – начнем с того момента, когда вы вошли в комнату и обнаружили тело.

– Да, – сказала она и содрогнулась. – Я вошла в комнату и обнаружила там тело.

Катерина посмотрела на следователя широко раскрытыми глазами, и он увидел, что глаза у нее зеленые, как изумруд.

– Он лежал на животе, повернув лицо к двери. Из спины торчал нож.

Разглядела ли она его лицо? О, разумеется, это лицо впечаталось ей в память так, что ничем теперь не вытравить. Если бы она была художницей, она бы нарисовала это лицо в один миг. А все дело в том, что лицо покойника было ей знакомо.

– Вот как? – Волин сделал стойку. – И кому же оно принадлежало?

Этого Катя вспомнить не могла, как ни силилась. Однако она припомнила, что убитый был человек с гладко зачесанными волосами, лицо имел удлинненное, нос крупный, большой плотно сжатый рот и треугольный подбородок...

– Вы понимаете, что описываете Булгакова? – прервал ее Волин.

Она захлопала ресницами.

– Но это же не мог быть Михаил Афанасьевич? – сказала она с некоторым сомнением.

– Конечно, не мог, – Волин с трудом сохранял хладнокровие: Катерина явно валяла дурака. – Для этого ему надо было встать из могилы, обрасти плотью, прийти сюда, воткнуть в себя нож, потом подняться и уйти.

– Ну да, – согласилась она, – а у вас есть более правдоподобная версия?

Тут Волин наконец понял, что с Катериной было не так. Как ни странно, она порождала в нем горючую смесь вожделения и раздражения. С одной стороны, ему страшно хотелось ее пристукнуть, с другой – затащить в постель. Но ни то, ни другое он позволить себе не мог – тем более, находясь при исполнении. Поэтому просто попросил продолжать, и она продолжила.

Увидев убитого, Катя очень испугалась и с криком побежала прочь. Забаррикадировалась на кухне и некоторое время сидела там. Из кухни она хотела позвонить в полицию, чтобы прислали роту ОМОНа, но мобильный, как назло, сел.

Немного придя в себя, Катя осторожно выбралась из кухни. Несколько минут раздумывала, не сбежать ли подобра-поздорову вон из музея. Но потом любопытство взяло верх, и она тихонько, на цыпочках, вернулась в ту самую комнату, где лежал убитый.

– И вы увидели... – начал Волин.

– И я увидела, – подхватила она, – что никого там нет. Совсем никого, от слова «вообще».

Волин кивнул. Дальше было понятно: она пошла звонить в Следственный комитет. Но Катерина опять возразила: никуда она не звонила, да и зачем звонить – убитого-то все равно нет.

Волин удивился: кто же тогда позвонил в СК? Этого Катерина не знала. Волин покачал головой и принялся за осмотр места происшествия. Однако осматривать особенно было нечего: следов борьбы или насилия никаких, тела, как уже говорилось, нет и в помине, нет даже крови на полу. Но если из спины торчал нож, должна же быть кровь?

– Должна, – согласилась Катерина. – Но нету. И не было...

И вдруг закричала так, что даже выдержанный Волин вздрогнул.

– Я вспомнила, вспомнила! Покойник был похож на Сан Саныча!

– Какого еще Сан Саныча? – спросил Волин.

– Я вам сейчас все расскажу...

И она рассказала все, ничего не утаивая.

* * *

– Короче говоря, никакого убийства и никакого утра живых мертвецов, конечно, в музее Булгакова не было, – объяснил Волин полковнику Щербакову. – А был идиотский розыгрыш, к которому, вероятно, приложил руку некий Сан Саныч. Этот самый Сан Саныч уже давно воюет с музеем и вот в очередной раз решил отметиться. – Ну, и что с ним будем делать? – спросил полковник.

– А что с ним сделаешь? – пожал плечами Волин. – Он же ничего не украл, не разрушил. А за розыгрыши у нас пока уголовной статьи нет. Да и был ли на самом деле этот розыгрыш, неизвестно. Покойника ведь видела одна только Катерина. – Что за Катерина такая? – вдруг заинтересовался полковник.

– Хороший вопрос, – вздохнул Волин. – Я, когда с ней разговаривал, решил, что она в музее работает. А когда зашел туда на следующий день, выяснилось, что такой сотрудницы у них нет и никогда не было...

У Волина зазвонил телефон. Он поднял трубку – на том конце оказался генерал Воронцов.

– Слушай, – сказал генерал, – у меня для тебя сюрприз. Я добрался до второй тетради твоего надворного советника. Ты стоишь или сидишь? Если стоишь, лучше сядь.

– Сергей Сергеевич, я не могу сесть, я у начальства... – начал было Волин, но Воронцов его перебил.

– Подождет твое начальство, – сказал он сурово. – Знаешь, что было во второй тетради?

– Откуда же мне знать? – Волин скорчил полковнику извиняющуюся физиономию: дескать, дедушка звонит, простите великодушно.

– Во второй тетради надворного советника оказался дневник Михаила Булгакова, – торжествующе заявил генерал.

– Что? – не понял Волин. – Какой еще дневник?

– Неизвестный, – отвечал Воронцов. – нигде и никогда не публиковавшийся...

Вступление

Надворный советник Загорский

«Прежде, чем приступить к рассказу об очередном расследовании, я бы хотел сделать небольшое предуведомление. Тетрадь, которую вы держите в руках – это не мои записки, а дневник одного знакомого литератора. Я лишь внес в него небольшие дополнения, если быть точным, вставил одну главу. Боюсь, что это несколько нарушило целостность повествования, но поступить иначе я не мог: на мой взгляд, для грядущих поколений чрезвычайно важна историческая достоверность и любое отступление в сторону от реальных событий может скомпрометировать саму идею автобиографических записок.

Вы спросите, как же попали ко мне эти записки? Ответ прост и предсказуем: винить в этом, а, точнее, благодарить, мы должны моего старого помощника и друга, неуёмного Ганцалина. Именно он и никто другой в один прекрасный день привел в наше скромное обиталище земского врача Михаила Булгакова. Действительно ли был этот день прекрасным или скорее ужасным, мнения расходятся. Я со своей стороны полагаю, что день этот был по меньшей мере историческим, поскольку за ним воспоследовали совершенно удивительные события, в которые, пожалуй, я бы и сам не поверил, если бы не был их активным участником.

В начале 1918 года я все еще ощущал на себе последствия злосчастного своего ранения. Ганцалин, который в постигшей меня беде считал виновным себя, неустанно рыскал по городу, ища хорошего доктора, который бы мог окончательно привести меня в норму. На самом деле в этом уже не было большой нужды, потому что я начал практиковать китайскую систему точечного массажа и прошел по пути выздоровления довольно далеко. Еще несколько

месяцев – и я бы выздоровел окончательно и притом без посторонней помощи.

Однако Ганцалин, беспокойный, как старая нянька, не желал ждать и не слушал моих увещеваний. Одних приведенных им эскулапов я выставлял с порога, с другими беседовал. В число последних попал и доктор Булгаков, которого Ганцалин подцепил – иначе не скажешь – на поэтическом вечере у Зои Денисовны Пельц, жившей в том же доме, что и мы, но на последнем этаже.

Я повидал множество разных людей, в том числе и выдающихся, и поистине великих, но Михаил Афанасьевич, признаюсь, удивил даже меня. Печать глубокого несчастья лежала на лице этого человека, и причиной тому была вовсе не его злосчастная зависимость от наркотического дурмана, а некий фатум, отметивший его среди прочих. Впечатление это несколько смягчали голубые, наивные, почти младенческие глаза, которые странно гляделись на лице взрослого, много повидавшего человека. Но дело было, конечно, не в глазах и вообще не во внешности.

Если бы я был мистиком или оккультистом, я бы, наверное, сказал, что человек этот охвачен тьмой, но в самой сердцевине этой тьмы сияет неугасимый свет истины. Говорят иной раз, что сердце человека – это поле битвы добра и зла. Обычно это надо понимать метафорически, но в случае Булгакова, я уверен, так оно и было на самом деле. Но самое главное, что от исхода этой битвы, как мне показалось, зависела жизнь многих и многих людей.

Вероятно, когда-нибудь настанут времена, когда писательство станет просто профессией, и как сейчас есть дурные, никуда не годные столяры и фельдшеры, совсем не знающие своей профессии, так же будут и писатели, не умеющие грамотно связать пары слов. Но в России традиционно литератор был пророк и целитель, указующий дорогу людям и врачующий раны общества, утешающий несчастных в их скорбях и облегчающий им нелегкое жизненное бремя. Таким мне показался и молодой тогда еще земский врач

Михаил Булгаков, хотя дальнейшей его судьбы я в то время не знал и знать не мог.

Тогда, в первую нашу встречу, мы с ним не говорили о литературе, только о медицине. И хотя он был терапевтом и венерологом и в болезни моей разбирался не лучше меня, но беседа эта, как мне кажется, была полезна нам обоим и обоих расположила друг к другу, а судьба связала нас невидимыми до поры до времени нитями.

Второй раз я увидел Михаила Афанасьевича летом 1922 года. Это был уже совсем другой человек. В нем появилась ясность и понимание своей миссии. Он явился ко мне и, несколько смущаясь, обратился с просьбой. У него в руках был его собственный дневник, в котором он кратко описывал события, которые случились с ним в последние годы. В событиях этих, как уже говорилось, участвовал и ваш покорный слуга. Очевидно, поэтому Булгаков решил мне довериться и попросил спрятать его дневник от посторонних глаз.

– Что-то говорит мне, что в ближайшие годы я сделаюсь популярным и буду вызывать нездоровый интерес у самых разных людей, – сказал он, глядя на меня своими младенческими голубыми глазами. – Эта часть моего дневника – вещь слишком важная и слишком интимная, чтобы позволить держать ее дома. Кроме того, тут высказывается мое откровенное отношение к советской власти. И, наконец, самое главное – здесь возникает подлинная картина мира, каким я увидел его когда-то.

Скажу от себя, что картина эта не исчерпывает собой всего многообразия нашей жизни, но можно ручаться, что она одновременно и удивительна, и правдива. Впрочем, судить об этом самостоятельно сможет любой, кому рано или поздно попадет в руки дневник Михаила Булгакова.

Глава первая

Царь в красной короне

Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918-ый...

Или нет, погодите, не так. Подлинно страшен был год, помню это как сейчас, и еще сто шестьдесят миллионов человек помнят, но точно ли велик? Пожалуй, что и да, что и велик по некотором размышлении. И года не прошло с февраля, когда пало все, а уж черный мой гроб с окостенелыми от холода останками снесли на кладбище села Никольское, где служил я – кем? Неужели доктором?

Постойте, постойте, опять не то, все в голове мутится и прыгает, фейерверк взорвался, все бежит и скачет, как при гетмане в Киеве. Не мог я быть доктором на кладбище, да и не было при кладбище такой должности. Но доктором я точно служил – это помню как ясный день, – в местной больнице. Служил до тех пор, как пришел царь в красной короне, схватил меня за горло и сдавил так, что искры посыпались из глаз жены моей Таси, в девичестве Татьяны Николаевны Лаппы. Это она, Тася, металась между аптеками, доставая мне лекарство, благодаря которому я жил и благодаря ему же умирал каждый день, а потом умер окончательно.

Гроб мой несли добрые крестьяне, которых я пользовал и которые не раз за мои труды обещали меня же и убить – если я полечу их не так, как, по их мнению, следует. Но я избавил их от лишней работы, я убил себя сам, точнее сказать, убил меня царь в красной короне, имя которому морфий.

Была осень или даже зима, и я продрог в своем углу гробу, как последний сукин сын. Руки и ноги мне при отпевании, по обычаю, связали, но при выносе развязать забыли, и я лежал, не имея сил сбежать с собственных похорон. Священник отец Дионисий хрипловато распевал «Трисвятое», меня несли по улице, и дикий ветер завывал мне в уши.

На кладбище гроб не опустили в могилу почему-то, но развели огромный костер, в котором и вознамерились меня сжечь вместе с гробом, уподобив тем самым индусам и прочим диким. Я хотел было воспротивиться, но рот мой был надежно заклеен смертью. Пламя между тем разгоралось, бросая рваные багровые блики на мое мертвое лицо. Со стороны, вероятно, казалось, что я корчусь, охваченный негодованием или даже сатанински смеюсь над своей непутевой жизнью.

Однако мне сделалось не до смеха, когда я увидел, что меня и в самом деле хотят сжечь. Я пришел в ужас. Вместо того, чтобы опуститься в благодетельную прохладу могилы и там ждать Страшного суда, в который не очень-то верил, я должен буду сгореть в адском пламени прямо здесь, испытывая при том чудовищные муки. Это ложь, что мертвые ничего не чувствуют: они чувствуют, и еще как! Трудно передать словами, что почувствовал я, когда гроб снова подняли и понесли к костру... Ужас, ужас нечеловеческий, впору мне было умереть, если бы я уже не был мертвым. Наверное, все-таки разорвал бы я объятия смерти и восстал – от одного только ужаса восстал бы, а не для каких-то благих дел. Но тут появилась жена моя Тася и закричала, что меня нельзя, никак нельзя сжигать на костре.

– Он не доктор, – кричала Тася, – он беллетрист. А беллетристы не горят, вы слышите, не горят!

На этих обнадеживающих словах я и проснулся. В окна глядело ледяное черное утро, и это была Вязьма, куда меня перевели из Никольского по состоянию здоровья. Жена, бедная, спала как убитая, запрокинув голову – из-за меня она очень уставала.

Тася была моей единственной защитой. Я боялся, что если о злосчастной моей болезни узнают на службе, то погонят ко всем чертям, да еще и в больницу положат, где мне придет безусловный конец. Именно поэтому я взял слово с Таси, что при любых обстоятельствах она не отдаст меня в больницу, и слово это Тася пока держала.

Мне, однако, требовалось ехать в Москву, и я отпросился у главного врача. Родные все знали, что я хочу получить освобождение от воинской повинности. Война, революция, пациенты – всё это так осточертело мне, что я намеревался бросить Вязьму и вернуться обратно в Киев. Но было у меня в Москве еще одно дело, о котором я никому не говорил. Когда-нибудь историки литературы назовут это дело «Николай Михайлович Покровский» и напишут о нем статьи и монографии. Для меня же Покровский был просто родной дядя, который обещал найти врача, чтобы вылечить племянника от злосчастного недуга.

Именно поэтому Тася осталась в Вязьме, а я в тот же день оказался в Обуховом переулке у дяди Коли.

Москвы я не узнал, да и кто бы узнал ее нынче? Всего три месяца прошло после революции большевиков, но даже дома теперь выглядели иначе. А уж распознать в гражданах людей было почти невозможно. Все живут будто в последний день Содома. Всё разрушено, а что не разрушено сегодня, непременно разнесут завтра. Людей избивают посреди бела дня; кто избивает, зачем, почему – не спрашивайте. Одно оказалось спасение – дядя Коля. Он принял меня как родного – а, впрочем, я и был ему родной, но в те страшные дни многие о подобных мелочах забывали.

– Вот такие дела, дорогой дядя, – сказал я Покровскому, зайдя в его теплую светлую квартиру о шести комнатах и усевшись вместо стула на свой чемодан. – Такие вот дела – и больше ничего.

Николай Михайлович, услышав мои слова, переменился в лице.

– Тебе, голубчик, непременно надо лечиться, и прямо сейчас, – сказал он озабоченно. – Иначе, того и гляди, начнешь вслух читать таблицу умножения или впадешь в другие крайности.

Я отвечал, что я, конечно, болен, но не до такой степени, а таблицу умножения не люблю с детства и, кажется, даже не пошел в ней дальше «пятью семь – сорок восемь». Однако Покровский шуток моей не принял и успокаиваться не хотел. – Нет, ты серьезно болен, это сразу ясно, – горячился он. – Что это, прости меня, за

фразеология? «Такие дела – и больше ничего» – кто так изъясняется? Какие-нибудь филистеры да большевики – и больше никто.

Мне стало стыдно за пустоту в голове, за все пошлости, которые я сказал и еще скажу бедному дяде. Я хотел покаяться и пожаловаться на болезнь, но тут в комнату, стуча когтями, вошел пес самого безобразного окраса. Зверь смотрел на меня умными карими глазами, почему-то стало ясно, что он вот-вот попросит папиросу. Но глядя на мой расхристанный вид, пес, очевидно, сообразил, что папирос у меня никаких нет, и потому только пролаял:

– Позвольте представиться, р-р-р! Шарик наше имечко, к вашим услугам.

Я понял, что у меня начались галлюцинации. Но, приглядевшись, увидел, что за пса говорит дядя.

– Сознательный пролетарий, – похвалил я Шарика и почесал у него за ухом. Тот всю мордой выразил умиление.

– Да какой он пролетарий, – махнул рукой Покровский, – типичный деклассированный элемент, люмпен. Вчера мне сову разодрал, а ее, между прочим, сам Приходько делал.

Тут в пандан к собакам мне отчего-то вспомнился Бальмонт: «Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих, тот играет в бесчестно-двойную игру...». Впрочем, удивительного ничего нет, я всегда замечал в этом декаденте нечто пуделиное. Не до такой степени, чтобы чучела зубами рвать, но все же, все же. Играл ли дядя с Шариком в бесчестно-двойную игру или все-таки верил в его грядущую победу, сказать было трудно.

– Как же он у тебя оказался? – спросил я, поглаживая пса.

– Привязался у мясной лавки, – отвечал дядя. – Пристал с ножом к горлу: дай ему краковской колбасы – и все тут. Слово за слово, привел его к себе, пусть поживет.

Я поглядел на Шарика. Тот повалился на пол и блаженствовал, размахивая хвостом.

– Так ты его и кормишь – колбасой?

Покровский только головой покачал.

– Кормлю, чем придется. Сейчас не те времена, чтобы колбасой собак баловать, запросто можно угодить в эти... как их... нетрудовые элементы.

Дядя был, как всегда, прав. Время было ужасное, тяжелое и грозило стать еще тяжелее. Февральский морок казался гимназистом-приготовишкой перед разворачивающейся сейчас катастрофой. Боги, боги, зачем призвали вы меня на пир в такое ужасное время? Почему должен я закрыть глаза гибнущему миру? Впрочем, до этого еще далеко. Неизвестно, кто кому закроет глаза, очень может быть, что мир меня еще переживет. Однако я уверен, что ни мне, ни ему лучше от этого не станет.

Возвращаясь к делам текущим, скажу, что Николай Михайлович действительно нашел мне доктора. Я и сам врач и к врачам отношусь с великой жалостью и симпатией. Однако иные врачи лечат только те болезни, которыми сами болеют или хотя бы подозревают их у себя. Сторонними хворями они не интересуются и если встречают неправильного пациента, с чистой совестью передают его другому эскулапу.

Но мой врач, по счастью, был не такой. Это был добрый старый психиатр, звавший меня коллегой, глядевший участливо и заявивший первым делом, что зависимость моя не так уж и страшна, половина врачей сейчас страдают чем-то подобным. На вопрос, возможно ли меня вылечить, бодро отвечал, что вылечить меня нельзя, хотя и можно попробовать. Дядя, сам врач-гинеколог, мигал из-за его плеча и корчил рожи, которые надо было понимать так: не обращай внимания, все это просто разговоры – не пройдет и месяца, как ты выздоровеешь и белым лебедем полетишь в свою Вязьму или где ты там поселился на положении блудного сына.

Как лечили меня, об этом я расскажу в другой раз и в другом месте. Скажу только, что метода старого доктора ко мне оказалась неприменимой. Ужасный царь в красной короне продолжал сиять на

горизонте и в один миг вдруг оказывался рядом, мерцая щербатым черепом и грозно требуя от меня всегдашней дани.

Впал я в окончательное уныние и хотел было все бросить и ехать к жене, в Вязьму, но дядя Коля, очень веривший в методу старого доктора, решил поддержать меня морально и немного развлечь.

– Тут есть один дом, – сказал он доверительно, – прекрасное место, там случаются разные интересные вещи: концерты, вечера с поэтами и все в том же роде. Тебе, голубчик, надо проветриться немного, а в Вязьму ты всегда успеешь, Вязьма уже семьсот лет стоит на одном месте и ни разу еще никуда не убежала. В доме этом, между прочим, и арии поют. Ведь ты тоже поёшь, насколько я помню? У тебя приятный баритон, вы сразу найдете общий язык.

Я все еще слабо упирался: петь приятным баритоном для поэтов и других проходимцев мне совсем не улыбалось. К тому же из дальнейшего разговора выяснилось, что в квартире этой расположена мастерская по пошиву модной одежды. – Да зачем мне модная одежда, – не понимал я, – я ведь не дама!

– Это неважно, – отвечал Покровский, – а, впрочем, и дамы там тоже есть, очень интересные попадают.

Тут я, кажется, понял, куда меня пытаются увлечь, и слегка смутился.

– Дядя Коля, – сказал я строго, – я женатый человек, и мне нельзя...

На этих словах моя решимость кончилась – я подумал, что в таком доме может найтись для меня и вожделенный дурман. Само собой, он должен там быть: кругом поэты, дамы – как же там не быть дурману? Пока я жил у дяди, он ничего мне не давал, говоря, что это сорвет все лечение, и я чувствовал себя так плохо, как будто уже спустился в ад, но без всякого Вергилия.

К счастью, идти до места было недалеко, это был дом Гребенщикова на Никитском бульваре.

– Ты просто немного развлечешься, – толковал мне дядя, пока мы шли: я – зябко кутаясь в пальто, он – распахнув шубу, –

развлечешься немного, а на завтра уже можно опять приступать к лечению. Ты слышал про новые опыты по омоложению человека?

Я не слышал, да и не очень интересовался. Из того, что я видел в последние месяцы, человека не омолаживать бы надо, а усыплять прямо в колыбели. Этого дяде я, конечно, не сказал. Раз он сам до этого не догадался, тратить на него время бесполезно.

– Железы, – говорил между тем Покровский, поднимая палец кверху, – берутся половые железы обезьяны и пересаживаются человеку. И наступает вторая молодость.

Я был истощен лечением и не смог скрыть злобы.

– Ах, дядя, – сказал я сердито, – лучше было бы сразу пересадить человеку обезьянью голову. Во всяком случае, честнее.

Николай Михайлович неожиданно заинтересовался моим предложением. Некоторое время он размышлял, потом с огорчением заметил, что с головой обезьяны человек не сможет рассуждать здраво.

– Он и так не может, – отвечал я, – да где же, наконец, этот твой дом?

Тут, как по волшебству, явился и дом. Зайдя внутрь, мы оказались перед двумя лестницами. Одна вела вверх, а другая – вниз, на цокольный этаж, где обычно находились подсобные помещения. Оттуда, снизу, доносились недовольные голоса.

– Вы, товарищ Ган, не дотапливаете! – взвизгивал чей-то неприятный тонкий голос. – Двенадцать градусов в помещении зимой – разве это тепло?

– Не морочь голову, Аллилуйя, – отвечал невидимый со странной фамилией Ган. Говорил он как-то странно, на чужеземный манер, хотя и без акцента. – Достань мне нефти, достань угля – я тебе натоплю так, что тошно будет.

– Где же я вам достану нефти, – кричал Аллилуйя голосом еще более тонким и визгливым, – нефти во всей Москве нет!

– О том и речь, – неприязненно отвечал загадочный Ган. – Нигде нет, а я достаю.

– Вы истопник, вы смотритель, это ваша обязанность – топить! – захлебывался Аллилуйя.

– А ты домком, и твоя обязанность – все доставать, – железным голосом парировал Ган.

– Двенадцать градусов зимой – это недопустимо! – надрывался его собеседник. – Жильцы жалуются, они мерзнут. Должно быть восемнадцать градусов, ну, хотя бы шестнадцать.

– А в доме должны быть новые небитые унитаза – где они? Кто их украл, я спрашиваю?

Аллилуйя ничего на это не сказал, а только как-то странно стал захлебываться отдельными звуками. Спустя несколько секунд, однако, его все же прорвало.

– Вы за это ответите, товарищ Ган! – заверещал он. – Перед самыми высокими инстанциями ответите!

– Плюс двенадцать лучше, чем минус двадцать, – хмуро отвечали ему. – Так что не зли меня, Аллилуйя, или будешь искать другого истопника. Посмотрим, как он тебе дом нагреет.

Снизу по лестнице, топоча толстыми ножками, взбежал пухленький человечек с портфелем под мышкой. Клопоча от ярости, словно разогретый чайник, он промчался мимо нас и выскочил из дома. Вслед ему с цокольного этажа вдруг высунулась страшная косая морда, в слабом свете одинокой лампочки совершенно желтая. Ах ты, Боже мой, подумал я, обмирая, это, кажется, черт, а не человек. Демон, истинный демон!

Истинный демон между тем, заметив меня, сначала осклабился неприятно, потом разглядел что-то такое, что сделало его совсем серьезным, и он даже церемонно поклонился. Я едва успел неуверенно кивнуть в ответ, как Покровский увлек меня по лестнице вверх.

– Кто это? – спросил я, переводя дух.

– Где? А, это... – дядя махнул рукой. – Газолин, здешний истопник.

– Из китайцев? – любопытствовал я.

Дядя рассеянно отвечал, что точно сказать не может, но, кажется, да. Когда мы оказались на верхнем этаже перед слегка обшарпанной, но тяжелой, словно кусок мрамора, дверью, он остановился, как бы набираясь духу, и сказал:

– Хозяйку зовут Зоя Денисовна, или, как сейчас принято говорить, гражданка Пельц. Очень милая женщина, да ты и сам увидишь.

* * *

И я увидел. Впрочем, то, что я увидел, сложно объяснить словами. Трудно описывать подлинную красоту, но, встретив Зою, я почувал, что пропал, пропал окончательно, бесповоротно. Каюсь, и раньше я не всегда бывал верен Тасе, и за нее меня Бог еще накажет, но не в этот раз, нет, не в этот. А тогда меня поразила любовь – истинная, глубокая и, как стало ясно чуть позже, роковая. Правда, случилось это не сразу и не вдруг. Любовь не застигла меня врасплох, как уличный убийца, она не выскочила из-под земли с ножом, но от того действие ее не стало менее губительным.

Впрочем, повторюсь, все это случилось немного позже. А сейчас дверь нам открыла миловидная девушка лет, наверное, двадцати – в светлой блузке, темной юбке, чуть поношенных черных туфлях и в шелковых чулках. Барышня была черноволоса, кудрява, стреляла карими глазками, но тут я не испытал ровным счетом ничего. Да помилуйте, мало ли кто кудряв, черноволос и стреляет глазками – неужели же всякий раз испытывать чувства? Нет, нет, я был холоден, как айсберг, о который разбилось немало женских сердец, и даже почувствовал в груди некую скуку.

– Здравствуй, Манюшка, – сказал дядя, – Зоя Денисовна дома?

– Всенепременно дома, – отвечала Манюшка, делая едва заметный книксен, – когда гости, она всегда дома. А это кто с вами?

– Племянника привел, – кратко отвечал Покровский.

– Проходите, Николай Михайлович, – пригласила нас Манюшка. – И вы, гражданин племянник, тоже добро пожаловать.

Слегка конфузясь, что меня из гостей так сразу перевели в граждане, я вошел в прихожую.

* * *

Квартира была велика, и комнат много – во всяком случае, больше, чем у дяди. Я подумал, что хоромы эти занимают весь этаж, но Покровский сказал, что только половину.

Кареглазая Манюшка помогла нам раздеться в прихожей, и повела дальше, в салон. Тут, однако, неизвестно откуда явился и перехватил нас у прислуги странного вида человек в серой визитке, желтом жилете, грязных штиблетах и клетчатых – что меня особенно поразило – штанах. Несмотря на перенесенные лишения, сам я под визитку никогда не надел бы клетчатых штанов, лучше бы ушел в метель и вьюгу в одних кальсонах.

Незнакомец вертелся вокруг нас с необыкновенной ловкостью, вскрикивая: «сюда пожалте», «не споткнитесь, умоляю», «вдохните аромату, парижский шик!» и подобную же чепуху. Я совсем потерялся, но, к счастью, дядя, опытный человек, строго спросил у неизвестного:

– Простите, с кем имею удовольствие?

Тот немедленно вытянулся, выгнул грудь колесом, прищелкнул штиблетами и звучным голосом отрекомендовался:

– Же ву салю!^[1] Аметистов, Александр Тарасович, ихний кузен, – он тревожно огляделся и, понизив голос, шепотом прокричал: – Если будут говорить, что не то, не кузен и не Тарасович, ни в коем случае не верьте. Все это происки врагов мировой революции! Антр ну^[2], прибыл сегодня утренним поездом, единственная гастроль! Куплеты из репертуара Шаляпина.

И, не дожидаясь ответа, запел пронзительным дискантом:

– На земле-е... весь род людской!

Я вздрогнул: это была моя любимая ария, но не в таком, конечно, варварском исполнении.

Пока он пел и тараторил по-французски – надо сказать, необыкновенно плохо и то, и другое, – я успел его немного разглядеть. Был он не брюнет и не шатен, а нечто среднее; нос длинный, как бы с усиками на губе, хотя, если приглядеться, никаких усов там не было и в помине. Время от времени на лице аметистовском вдруг появлялось, а затем бесследно пропадало старомодное пенсне. Вообще, весь вид его был какой-то несолидный, если не прямо жульнический, но я почему-то почувствовал к нему необыкновенную симпатию.

«Ничего удивительного, – думал я, – жулики и должны быть симпатичными, иначе кто попадетя на их фокусы. Впрочем, если у них тут принято так петь, то я сам, пожалуй, легко сойду за Баттистини».

Но тут вокальные экзерсисы Аметистова прервал Покровский.

– Вы сказали «ихний кузен», – повторил он с легкой гримасой образованного человека, вступившего во что-то для себя неожиданное. – Позвольте узнать, что значит это «ихний» и чей именно вы кузен?

– Да ихний же, ихний! – вскричал загадочный кузен с небывалым энтузиазмом. – Этой, как ее... Аллы Вадимовны? Нет, не то. Серафимы Богдановны? Тоже мимо! – Он хлопнул себя по лбу. – Вот оно – Зоя Денисовна, в крещении Пельц. Вот времена, не то что родной двоюродной сестры имя забудешь, но и свое собственное. Прошу, спросите, как меня зовут? Нет, не прошу – умоляю, спросите! Что, не хотите? Ну, так я сам спрошу!

Тут он надулся и выкрикнул невесть откуда взявшимся басом.

– Как же зовут тебя, Аметистов, ответствуй? – и, переменяв голос на фальцет: – Что же, вы думаете, я отвечу? А ничего! Не помню, как меня зовут, то есть начисто. А кто, я вас спрашиваю, виноват в повальном склерозе? Не знаете? А я знаю. Во всем виноваты Маркс

и Энгельс, эти прелестные вожди мирового пролетариата, давшие миру новые горизонты. Это раньше пролетарий думал про себя, что он Александр Тарасович, в девичестве Василь Иванович – и довольно с него. Сейчас не то, сейчас другое. Он и думать про себя забыл, он думает только о социальной справедливости, он кушать не может без этой справедливости. Вынь ему эту справедливость и положь, а иначе этот пролетарий начнет рвать на себе цепи, как последний эксгибиционист...

К счастью, тарактение невозможного Аметистова прервала сама хозяйка квартиры. Что она уже тут, понял я по внезапно загоревшимся глазам Покровского, который смотрел куда-то за спину кузена, своей несуразной фигурой перегородившего все горизонты, данные нам, по его же словам, Марксом и Энгельсом.

– Прочь, Аметистов, – сказала она.

Тот немедленно стухевался, растворился, и стало ясно видно Зою Денисовну Пельц...

К тому моменту я жил в счастье и согласии со своей женой Тасей уже по меньшей мере четыре года – и это не считая нашу жизнь до свадьбы. Но, глядя на Зою, почему-то вспомнил, что Алексей Толстой рекомендует начинающим писателям почаще жениться – способствует творчеству. Впрочем, может быть, это и не Алексей говорил, а Лев, не уверен. Главное при этом, чтобы жена была всякий раз новая, а то бывают такие мужья, которые без конца женятся да разводятся, но почему-то все с одной и той же.

И хотя я тогда еще не был настоящим писателем, а был просто земский врач, на какой-то миг я совершенно забыл, что женат.

Являлся ли вам когда-нибудь в грохочущей конке нестерпимо нежный женский профиль? Нельзя даже сказать, что безумно красивый, а именно, что нежный, до темноты в глазах, до умопомрачения? Мне явился, вот только случилось это не в конке и даже не в поезде, а в твердо стоявшем на земле доме, в квартире Зои Денисовны Пельц.

Она говорила о чем-то с дядей, а я молча стоял и любовался, и только сердце у меня каким-то странным образом замирало и потом снова начинало биться – уже с удвоенной силой. По общему мнению, у меня очень здоровое сердце. Тем удивительнее было, что оно то билось черт знает, как быстро, то совсем останавливалось и не шло по несколько секунд подряд. А виной всему был нежный профиль.

Нет, все-таки я вру. Какой там профиль, какая конка! Зоя была ослепительно, необыкновенно хороша, нельзя было не влюбиться с первого взгляда – и я влюбился. И, значит, пес с ним тогда, с Алексеем Толстым и со всеми на свете львами. Сама любовь стоит перед вами – как же удержаться и не пасть к ее ногам? Как?

И я не удержался.

Описать ее, конечно, невозможно, потому что я был влюблен, а для влюбленного нет ни глаз, ни волос, но только непрерывное сияние, которое исходит предмет вашей страсти. Рыжая и зеленоглазая, Зоя смотрела на меня загадочно и чуть улыбаясь. Позже я спросил ее, что она помнит о нашей первой встрече, она только отмахнулась, сказав, что я был очень смешным. Мне же самому она смешной не показалась. Волосы ее, я повторяю, рыжие, но не те рыжие, которые выбеливают лицо женщины и придают ему какую-то бесцветность, а медные, с солнечным отливом, эти волосы как будто озаряли все вокруг. А глаза ее – что это были за глаза! Там плескалось и море, и небо, и весь мир. И ты вдруг догадывался, что волосы тут и вовсе ни при чем и что все озаряют именно глаза. А потом ты смотрел на губы, потом опускал взгляд ниже...

– Какой же ты бандит, – говорила она, смеясь, и шлепала меня по руке, – настоящий разбойник!

И я целовал ее и... боже мой, зачем я ее целовал?! Может, если бы я тогда удержался, все сложилось бы совсем иначе, и не было того страшного, что случилось потом.

Но это тоже было позже, а сначала дядя представил нас друг другу. Я не знаю, как выглядел я, а у Зои глаза как будто вспыхнули,

когда она на меня поглядела, но тут же сделала равнодушный и одновременно любезный вид.

– Ты был похож на клоуна, – говорила она позже, – такой печальный от кокаина Пьеро, каких много бывало в моем салоне. Как же я должна была на тебя смотреть, сам посуди? Ведь я хозяйка, и это просто неприлично.

И каждое слово тут было правда, кроме того, что печален я был не от кокаина, а от совсем другого зелья.

Зоя проводила меня в самую большую комнату и, сославшись на важный разговор, увела куда-то Покровского. У дальней стены на небольшой эстраде развернул крыло черный кабинетный рояль, напротив него в несколько рядов теснились разнокалиберные стулья. Их с самым решительным видом оседлали оборванные молодые люди – вероятно, те самые поэты, о которых было столько разговоров. Оставалось совершенной тайной, как за один год, прошедший со времени февральской революции, могли они так обноситься. Я стал приглядываться к поэтам, смутно надеясь увидеть среди них Блока. Но ни Блока, ни Брюсова, ни даже самого захудалого Зоргенфрея я тут не обнаружил. Наверное, они должны были явиться позже, как украшение вечера, как жемчужина всего предприятия. Не секрет, что значительные персоны всегда опаздывают, чтобы показать, кто тут главный. Я, увы, этому высокому искусству так и не обучился: как я ни опаздывал, ничего, кроме проклятий в свой адрес не получал, и ни разу меня не приняли за значительное лицо. Вы скажете, наверное, что ничего значительного во мне никогда и не было. С другой стороны, что значительного было в Зоргенфрее? Тем не менее, он опаздывал сейчас совершенно безбожно, а может, и вовсе не собирался приходить.

Пока я таким образом размышлял о поэзии, на эстраду вылез толстяк с бородой и усами и, не кланяясь, сел за рояль. Все зааплодировали, ожидая начала концерта. И концерт начался, но довольно странно – толстяк взялся рассеянно тыкать одним пальцем в клавиши.

Я прислушался и похолодел: вне всяких сомнений, это был собачий вальс. Если нам весь вечер придется слушать пение Аметистова и вальсы местного аккомпаниатора, боюсь, я не выдержу и кого-нибудь убью. Нервы в последнее время у меня расшатались совершенно невыносимо.

Словно услышав мои мрачные мысли, невесть откуда снова явился Аметистов и зашептал на ухо, противно согревая его жарким дыханием:

– Не обращайтесь внимания, шер ами!^[3] Сэ тюн провокасьон, шутка гения!^[4] Надеюсь, вы понимаете, что маэстро просто разогревается, рьен де плю!^[5] О, я сказу увидел, что вы знаток и ценитель, вам надо в Ла Скала, и как можно быстрее. Идемте, познакомлю вас, выскажете виртуозу свое восхищение!

Никакого восхищения мнимому виртуозу я высказывать не собирался, да и, признаюсь, вовсе его не испытывал. Однако увлеченный, словно ураганом, энергией подозрительного кузена, уже через несколько минут стоял возле рояля и с самой кислой улыбкой глядел на пианиста. Во всем облике его чудилось что-то ласковое, кошачье, и ощущение это усилилось, когда он посмотрел на меня снизу вверх. Казалось, что прямо сейчас он мяукнет и потрется о рукав мохнатой головой.

– Вот он, наш гений! – вскрикивал между тем Аметистов, простирая обе руки в сторону толстяка. – Николай Евгеньевич Буренин собственной персоной, прошу любить и жаловать. Наш Моцарт, наш Шуберт, наш Людвиг ван Бетховен! Пианист и большевик, член РСДРП с 1904 года. Вы не поверите, абсолютно героический человек! Одной рукой за совершенно смешные деньги берет на клавиатуре полторы октавы.

Толстяк, словно желая подтвердить слова Аметистова, изо всей силы ударил по клавишам и заиграл какой-то невообразимый марш. Мне показалось, что брал он гораздо меньше нот, чем обещали, но придирааться, наверное, не стоило. Играл он действительно лихо, чего после собачьего вальса никак нельзя было ожидать.

Когда он закончил, выяснилось, что Аметистов куда-то провалился. Сам же Буренин теперь смотрел на меня ласковыми кошачьими глазами и ничего не говорил. Чувствуя некоторое смущение, я прокашлялся и спросил, что входит в его концертный репертуар.

– Я старый тапер и не различаю Брамса и Шумана, – с достоинством отвечал на это толстяк.

Сконфузившись, я решил не говорить больше о музыке. Но молчать было невежливо, и я спросил, не родственник ли он выдающемуся русскому критику и черносотенцу Виктору Петровичу Буренину, более известному как Хуздозад и граф Жасминов.

– Увы, увы, нет, и даже не товарищ по революционной борьбе, – с охотой отвечал старый тапер. – Впрочем, скажу вам напрямик, по-большевистски: прекрасный человек Виктор Петрович, мы таких скоро будем на столбах вешать. И повесим всех до единого, не сомневайтесь, слово старого подпольщика.

– Отчего же такая суровость? – осведомился я.

Он всплеснул толстыми ручками, которыми непонятно как брал полторы октавы.

– А как же иначе, милостивый государь? Мы провозглашаем пролетарский интернационализм, а они провозглашают что? Бей жидов – спасай Россию! Или вы, пардон, полагаете это солидной экономической программой? Нет, скажу я вам, так мы и разруху не одолеем и евреями пробросаемся.

Не желая входить в политические дискуссии, я лишь заметил, что, еврей, безусловно – лучший друг большевика. Чрезвычайно бесхозяйственно было бы бросаться евреями сейчас, когда прямо на пороге светлое будущее, до которого буквально один шаг.

– Два, – строго уточнил Буренин, – два шага. Ильич говорил мне частным образом, что Советская власть плюс электрификация всей страны – вот две составляющих светлого будущего. Ну, разумеется, евреям там тоже место найдется. Впрочем, попрошу вас никому ни слова, это пока секрет нашей партии.

И, отвернувшись, он ударил по клавишам, а оказавшийся тут же рядом Аметистов натужным пролетарским голосом басом запел что-то уж совсем невозможное:

– Эх, яблочко,
да куды котишься,
В Губчека попадешь –
не воротись!

Эх, яблочко,
да поживи пока,
сперва любила буржуя,
теперь большевика!

Эх, яблочко,
цвета макова,
А я любила их –
одинаково!

Эх, яблочко,
да за обоями,
Выйду замуж – эх! –
да за обоих я...

Я в ужасе попятился к своему месту, а сидевшие в партере поэты неожиданно оживились и даже начали подпевать. Обнаружилось, что с началом песни зал стал быстро заполняться самой пестрой публикой. Тут были и солидные господа, напоминавшие купцов

второй гильдии, и богато одетые дамы, при виде которых приходила на ум всемирная выставка в Париже. Однако были и персонажи, которых иначе как босяками не назвать: рядом с ними даже поэты казались великосветскими щеголями.

Мне сделалось душно, и я поспешил выйти вон из зала. Негодуя на дядю, что позволил ему отвести меня в такое странное место, я побрел по комнатам и вдруг услышал знакомый голос Аметистова.

– Зоя, мон анж^[6], это же чистая прибыль! Что ты зарабатываешь на своих голозадых поэтах и на мсье большевике? А это живые деньги! Или ты думаешь, что новая власть будет тебя кормить и поить задаром?

Я изумился. Только что, мне казалось, Аметистов был на эстраде и распевал «Яблочко», и вот он уже совершенно в другом месте! Как такое может быть? Или я спутал его голос с чьим-то другим?

Раздираемый любопытством, я заглянул в комнату. Там на диванах спиной к двери действительно сидели Зоя и Аметистов.

– Борис Семенович Гусь готов платить деньги, настоящие золотые десятки – прямо здесь, и без всяких расписок, – говорил кузен, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. – И не только Гусь. Несмотря на весь этот кавардак, в России остались еще богатые люди. Да, они растеряны, разбиты, перевернуты. Но они желают любви и твердой почвы под ногами, и эту почву мы можем им предоставить на взаимовыгодных условиях!

– Ты ненормальный, – отвечала Зоя растерянно, – я не отдам Манюшку на растерзание Гусю.

– Да кто, кто говорит о Манюшке, – вскрикивал кузен, – вокруг полно голодных профессионалок! Впрочем, ты права! Профессионалки грубы и пошлы, а у нас изысканная публика. Надо подыскать приличных женщин, клиент падок на приличных женщин.

– Замолчи, – твердо сказала Зоя, – я не превращу свой дом в вертеп.

Аметистов внезапно оглянулся на дверь, и я еле успел спрятаться. Не желая быть застигнутым, попятился назад, и вдруг наступил на

чью-то ногу. Прямо из воздуха передо мной возник Великий Могол, или Чингис-хан, или Темучин – ну, словом, та самая косая желтая физиономия, которая так напугала меня давеча, когда мы с дядей входили в дом.

– Прошу прощения, – пробормотал я, стараясь, чтобы голос мой не дрожал, – я вас не заметил.

Желтая рожа, однако, ничего не сказала, только взяла меня за рукав и потянула за дверь. В тот же миг из комнаты в прихожую выглянул Аметистов и прокричал:

– Никого тут нет, Зоенька, у тебя паранойя! Аллюсинаясьон^[7] – и не более того!

Стало тихо. Страшный человек, пленивший меня, стоял совсем рядом и весьма невежливо глядел прямо мне в глаза.

– Чем могу служить? – поинтересовался я, слегка откашлявшись.

– Вы врач? – сурово спросил он.

– Простите? – растерялся я.

– Ваш дядя говорил Зое, что вы врач, – сказал он уже утвердительно.

– Да, – отвечал я, – но дело в том, что...

Однако он уже не слушал, а железной своей рукой тащил меня вниз по лестнице. Я даже не пытался сопротивляться – такой ужас он мне внушил. Спустя минуту мы уже стояли на цокольном этаже, напротив двери, за которой, очевидно, и жил взявший меня в плен Чингис-хан. Меня почти втолкнули в квартиру, я зажмурился и застыл, ожидая по меньшей мере удара кастетом. Однако все было тихо.

Постояв несколько секунд, я решился открыть сначала один глаз, потом другой. В комнате не было света, только в дальнем углу топилась печка-буржуйка, давая небольшое неверное освещение и явственное тепло. Довольно быстро стало ясно, что в квартире есть еще кое-кто, кроме нас с Чингис-ханом. Прямо посреди комнаты на старом диване сидел седоволосый, но стройный и моложавый человек. Если бы не седина, ему нельзя было дать и пятидесяти.

Лицо его казалось словно в граните вырезанным, а глаза были глубокие и страшные. Несколько секунд мы просто глядели друг на друга. Потом он вопросительно поднял бровь и проговорил:

– Ну-с, милостивый государь, и от чего же вы собираетесь меня лечить?

Я растерялся.

– Прошу прощения... Почему вы решили, что я буду вас лечить?

– Потому что вы доктор.

Однако... Откуда он знает? Незнакомец улыбнулся.

– Я бы мог изобразить из себя Шерлока Холмса и назвать кучу признаков, но все гораздо проще: Газолин таскает ко мне врачей, полагая, что они смогут меня вылечить.

– Он хороший доктор, – сказал Газолин. – Пусть посмотрит господина.

Эта убежденность, кажется, немного поколебала хозяина квартиры. Признаюсь, убежденность эта и мне показалась странной.

– Вы, сударь, невропатолог? – поинтересовался незнакомец.

Пришлось признаться, что я венеролог, и это, кажется, немало повеселило моего визави. Мне почему-то показалось обидным его веселье, и я довольно сердито заметил, что в последний год жил в деревне, так что у меня была широчайшая практика, в том числе и по части неврологии. – Кроме того, – проговорил я не без гордости, – все говорят, что я неплохой диагност. – И добавил. – Впрочем, если вы не желаете, я не настаиваю.

И действительно, выходило странно: как будто не меня сюда притащили, а я сам набиваюсь лечить чужую и неизвестную мне болезнь. Как бы там ни было, Нестор Васильевич Загорский – а именно так представился мне новый знакомец – разрешил все-таки его осмотреть.

– По правде сказать, не знаю, что там осматривать, – заметил он. – Формально дело обстоит до невозможности просто. Боевое повреждение периферической нервной системы, как следствие – полная недееспособность. Некоторое время я был практически

овощем, но мой добрый Ганцзалин меня не бросил и таскал по самым разным врачам. Меня пытался лечить даже один китайский доктор – мой помощник отыскал его в Самаре. Однако после переворота тут началось такое, что доктор почел за лучшее вернуться обратно в Поднебесную. Вероятно, так бы я и окончил жизнь в тягостном оцепенении, но, как говорится, клин клином вышибают. Небольшой случайный инцидент – и я пришел в себя. Однако способности мои пока сильно ограничены, фактически я полуинвалид. Исследования при помощи осциллографа ясных результатов не дали. Удалось даже сделать рентгеновский снимок позвоночника, но и там никаких видимых нарушений нет.

Я взялся за дело: исследовал сухожильные рефлексы, расспросил о симптомах. Загорский жаловался на частичную парализацию правой руки и правой ноги, боль в конечностях и возникающие в них произвольные движения. Не скрою, тут пришлось призадуматься и думать по крайней мере минут пять.

– Что ж, – сказал я, откашлявшись. – Не являясь специалистом в неврологии, не могу судить определенно, но полагаю, что при ранении были задеты клетки Беца.

– Гигантские пирамидальные нейроны? – с любопытством спросил Нестор Васильевич. – То есть нарушения, по-вашему, локализованы в первичной моторной коре?

– Может быть, так, а может быть, дело в самом пирамидном тракте, – пожал я плечами. – Окончательный диагноз требует серьезных исследований. Боюсь, в России сейчас это невозможно, надо бы ехать в Европу.

– Рад бы в рай, да рожей не вышел, – многозначительно заметил Газолин.

Загорский бросил на него суровый взгляд и велел перестать коверкать пословицы, в которых он ничего не понимает. Затем снова обратился ко мне и заметил сокрушенно:

– Если оставить за скобками манеру выражаться, этот разбойник прав – в Европу пока мне путь заказан.

Я хотел было спросить, почему бы это, но вовремя передумал.

Мы еще немного поговорили о вероятных причинах болезни и возможных способах терапии. Признаюсь, меня поразила осведомленность Загорского в медицине. Впрочем, встречались мне пациенты, знавшие о своей болезни гораздо больше среднего врача. Так или иначе, мне показалось, что хозяин квартиры остался нашим разговором доволен.

– Понимаю, что вопрос может выглядеть неуместным, но сколько вы берете за визит? – спросил он наконец.

Я поднял руки, протестуя: ничего не надо, считайте это просто дружеским участием. Загорский усмехнулся.

– Ну что ж, тогда на правах друга позвольте задать вопрос: как вы стали морфинистом?

Признаюсь, я несколько растерялся: неужели это так видно?

– Это видно опытному человеку, – отвечал Нестор Васильевич. – И видно ясно – несмотря на то, что сейчас вы лечитесь.

Конечно, подобная тема при других обстоятельствах мне показалась бы по меньшей мере бестактной, но сейчас я почему-то заговорил о моей болезни с необыкновенной легкостью.

– Всею виной случайность. Отсасывал у ребенка дифтеритные пленки, по недосмотру заразился. Ввел себе противодифтерийную сыворотку. От сыворотки начался страшный зуд, лицо распухло, как подушка. От боли не мог спать, впрыснул себе лекарство. Раз, другой, третий – и привык.

Нестор Васильевич покачал головой, он теперь смотрел на меня грустно и даже обеспокоенно.

– Вам непременно нужно лечиться, – сказал он. – И дело даже не в том, что такая зависимость чревата тяжелыми последствиями. Дело в том, что страну захватывает хаос. Я не сивилла^[8], но предсказываю, что обывателю в России скоро будет трудно найти кусок мяса, а уж про алкалоиды, добываемые из мака снотворного, вообще придется забыть. Ну, или они будут стоить столько, что гонораров врача на них не хватит.

Я описал Загорскому метод, которым лечил меня старый доктор. Нестор Васильевич поморщился: это, по его мнению, было совершенно не то.

– Можно, конечно, попробовать вытеснить сильное средство чем-то послабее. Но, во-первых, это менять шило на мыло, во-вторых, неизвестно, как примет такую замену организм. Нужен радикальный и в то же время щадящий способ.

– Но где же взять такой способ? – развел я руками.

– Такой способ существует, – отвечал Загорский холодно, – и я его знаю.

Я смотрел на него выжидательно, но он молчал, только странная тень гуляла по его гранитному лицу, озаряемому отблесками пламени из печки. – Так что это за способ?

– К сожалению, не могу вам сказать...

Я почувствовал себя обманутым. Что же это такое – знать способ и не говорить его больному? – Дело в том, – продолжал он, заметив мое удивление, – дело в том, что пациент не должен знать сути метода. В противном случае метод не подействует.

Я смотрел на него в изумлении: как же тогда метод применять? Если нельзя его говорить пациенту, значит, он бесполезен. Но загадочный мой хозяин, поразмыслив самую малость, все-таки нашел выход из положения. Он быстро начеркал что-то на листке бумаги, потом сунул его в конверт и тщательно заклеил.

– Не вскрывайте конверт ни в коем случае, – сказал он. – Конечно, вас будет преследовать соблазн, но не уступайте ему, если жизнь вам дорога. А когда вернетесь домой, непременно отдайте конверт вашему доктору. Пусть он вскрыет его и точно следует описанным там рекомендациям.

Я смотрел на него в изумлении. Я ясно видел, что Загорский – человек необыкновенный. Но кто он – врач, ученый или просто, что называется, из бывших? Я даже осмелился спросить Нестора Васильевича о роде его занятий.

В глазах его при этом вопросе зажглось темное пламя. Несколько секунд он смотрел на меня, не отрываясь. Потом вдруг усмехнулся и ответил:

– Не в моих правилах рассказывать о себе посторонним. Однако я вижу в вас нечто... – он пощелкал пальцами, подбирая слово, – нечто не совсем обычное. Я не знаю источника той силы, которая стоит за вами, но это большая и мощная сила. Возможно, судьба в лице моего бестолкового помощника не случайно привела вас сегодня в мое убогое обиталище. Возможно, в этом есть некая необходимость – в равной степени касающаяся и вас, и меня.

(О, как он был прав! Прав во всех отношениях, начиная с того, что меньше, чем через два года меня контузило, и я приобрел похожие симптомы, и заканчивая... Но, однако, об этом пока рано говорить).

– Кроме всего прочего, – продолжал Загорский, – мне кажется, что вы человек не болтливый. Поэтому я скажу вам, кто я такой.

Тут он сделал многозначительную паузу. Глядя на него, можно было решить, что он король в изгнании, или падший ангел, или еще какое-нибудь фантастическое существо, вынужденное скрываться от новой власти. Однако ни в чем таком он, разумеется, не признался, сказал лишь, что он – сыщик, детектив, специалист по уголовному праву.

– Боюсь, впрочем, что в нынешних обстоятельствах ремесло мое окажется невостребованным, – невесело заметил он. – Когда к власти приходят уголовники, они в первую очередь убирают тех, кто способен с ними бороться. И это вторая причина, по которой я пока не выхожу из дома.

После этого мне оставалось только откланяться. Таинственный Газолин, который работал в доме истопником, отвел меня обратно к Зое. Этот желтый человек, которого я поначалу принял за демона, после нашего разговора с его хозяином проникся ко мне таким доверием, что даже пожаловался на трудности в своей работе истопника.

– Разруха, – сказал он с отвращением, – революция и разруха! Батюшка-царь арестован, Керенский сбежал, а с ними пропали уголь и нефть. Топить дом нечем, а топить надо. Потому что зима.

Я любопытствовал, как же он выходит из положения.

– Ганцалин выходит, – отвечал он загадочно...

Глава вторая

Страсть и тоска

Не спрашивайте меня, как я попал в квартиру Зои Денисовны второй раз, скажу только, что был я там уже без дяди – моей сообразительности хватило, чтобы найти ее самому. Меня подмывало заглянуть еще раз к истопнику и увидеть Нестора Васильевича, но в последний момент я чего-то испугался и прошел мимо, не спустившись в цокольный этаж.

Манюшка, открыв дверь и, обнаружив меня, совершенно не удивилась и молча пропустила внутрь. Еще меньше удивилась Зоя.

– Я ждала, – проговорила она. – Хорошо, что ты пришел сегодня, как раз никого не будет.

Тут она взяла меня за руку и увлекла за собой вглубь квартиры. Очнулся я, только поняв, что оказался в ее спальне, в алькове. Так странно было видеть тепло и красный цвет страсти, царивший здесь посреди мирового безумия, когда люди убивали друг друга за непонятные им самим идеи равенства и братства или, напротив, великой и неделимой России, свободной от большевиков.

Она поцеловала меня первой. Когда-нибудь, спустя миллионы лет, когда меня, возможно, призовет к ответу Бог, в которого я тогда не очень-то верил, и ангелы, в которых я не верю и сейчас, это единственное, что я смогу ответить на их упреки. – Как же ты мог, – спросит, вероятно, Вседержитель, – ведь у тебя жена, почему ты не устоял?

И я отвечу:

– Я не устоял, потому что устоять было невозможно. Она первая меня поцеловала.

И, подумав, добавлю:

– Но я сам этого хотел.

И тем, разумеется, отменю любое и всякое помилование.

Для того, чтобы понять случившееся позже, надо знать, что значила для меня Зоя Пельц. Но чтобы понять это, мало слов. Надо видеть ее, как видел ее я, надо трепетать за нее, как трепетал я, надо целовать ее, как целовал ее я, и надо любить ее, как любил ее я. И еще надо было быть мной.

Старый врач так и не излечил меня от зависимости. Прочитав переданное ему письмо Загорского, он несколько нахмурился, задумался, а потом вынес свой вердикт.

– Я слышал про этот метод, – скажет он, – но это совершенно, совершенно ненаучно. Нет, так никого излечить нельзя, так можно только навредить.

И он сжег листок на свече и потом еще развеял пепел по воздуху, как будто боясь, что письмо каким-то образом восстановится из небытия и явится мне если не наяву, то хоть во сне. Итак, доктор сжег инструкцию, но и сам вылечить меня не смог. При этом он полагал, что я могу излечиться одним только усилием воли. Не знаю, может быть, и были на свете люди, которые могли справиться с безумием усилием воли, но я, признаюсь, к подобным счастливицам никогда не принадлежал.

Таким образом, к Зое я отправился совершенно больным. Но так сильна была моя тяга, таким светом озарялось все в ее присутствии, что я добрался и не упал в судорогах где-нибудь по дороге, и меня не добились грабители, не сняли с меня неважное мое пальто и ботинки, которым, признаюсь, уже нестерпимо хотелось каши.

Зоя, только взглянув мне в глаза, поняла, что меня тяготит, что разжигает в моей душе гибельное багровое пламя, какую власть взял надо мной царь в красной короне.

– Бедный мой, бедный, – она погладила меня по голове, – тебе очень плохо?

И хотя я через силу улыбнулся и пробормотал что-то преувеличенно бодрое немеющими челюстями, она все видела сама.

– Не бойся, – сказала она, – Херувим принесет тебе лекарство. У него прекрасное зелье, чистое, он не разбавляет его совершенно.

Я только головой покачал. Впору было посмеяться, что дурман мне будут носить те самые ангелы и херувимы, в которых я не верил, но меня охватил стыд и страх. Что будет дальше? Сколько мне осталось еще, пока мир не затянет черная пленка безумия, пока тело не начнет разлагаться на глазах?

– Не бойся, милый, – она обнимала меня, – я все для тебя сделаю, я спасу тебя. Я сейчас.

Она приносила опий, говоря, что это совершенно медицинское средство, его прописывают всем страдающим больным, давала мне, и мир начинал играть новыми красками, и боль в душе ослабевала.

Что касается Херувима, то это оказался не ангел, конечно, а китаец, правда, совсем не такой, как Ганцалин. Это был подлинный китайский ходя – маленький, услужливый и очаровательный, как настоящий херувим. Он работал в прачечной и до печенок был влюблен в Манюшку. Я как-то подслушал их разговор, смешной и небывалый.

– Манюска, – говорил он с ужасным акцентом, – я тебе любви. Я тебе зеню, ехати в Санхай. Санхай тепло, будем китаЙса дети лодилоди.

– Да вот еще, – фыркала Манюшка, – не собираюсь я с тобой ехать ни в какой Шанхай. С какой стати?

От таких слов Херувим вспыхивал, как спичка, и начинал страшно кричать.

– Мне не любви? – вопил он. – Ганцалин любви? Целовала Ганцалин, отвецаЙ?!

– Еще чего, – смеялась Манюшка, – он старый, нужен он мне.

Но Херувиму такая логика была непонятна. Он продолжал интриговать и выдвигал против соперника страшные обвинения.

– Ганцалин не любви, – грозно говорил он. – Он не ёсе настояси китаЙса, ёсе поддельный. Он есе японса, пелеоделася. Он со мной китаЙски не говоли, луски говоли. Я сплоси: ты китаЙса – зацем китаЙски не говоли? Ганцалин говоли, цо он луски подданны. Это влет, собака. Он плосто китаЙски не знаЙ, плосто диди-гугу^[9], не есе

говоли, есе блям-блям. Говоли, из Сианя плiehала, там все блям-блям. Санхай не знай, мандалина не знай^[10], один блям-блям знай – не есе китаец, есе цзулик... Не люби его, не целуй. Люби меня, целуй мало-мало, оценъ холосо б́уди!

* * *

За всеми страстями я почти забыл, для чего ездил в Москву – кроме, разумеется, лечения. А между тем в Москву я ездил, чтобы избавиться от воинской повинности. Это был не первый мой приезд, и меня никак не хотели освобождать. Но нынче, освидетельствовав, поняли, что никуда в таком состоянии я не гожусь. Никакой я теперь не доктор, меня самого надо лечить, да и то уж скорее я погибну, чем снова примкну к сонму здоровых людей.

Итак, от повинности меня освободили, и надо было возвращаться в Вязьму. Сначала я мечтал уехать в Киев. Но теперь, после знакомства с Зоей, решительно не мог даже думать о том, чтобы покинуть Москву. Нет-нет, я, конечно, умру, но пусть это будет сладкая смерть в объятиях любимой женщины, а не голодное угасание среди озверелых пролетариев вроде дядиного Шарика, которых хлебом не корми, дай только колбасы налопаться.

Так я и сказал Покровскому, закончив бесполезный курс у старого психиатра.

– Извини, дядя Коля, – проговорил я крайне решительно, – но ни в какую Вязьму я не поеду! Я остаюсь в Москве, такова моя судьба.

Дядя опешил, он никак не ожидал подобных результатов лечения. Покровский внимательно поглядел на меня и все прочитал в моем мятном и двусмысленном облике.

– Боже мой, – сказал он, – это все Зойка! Я так и знал, что этим закончится, я чувствовал! – Не называй Зою Денисовну Зойкой, это мне неприятно, – попросил я его.

– Кой черт не называть, – не сдержался Покровский, – я бы и не так еще назвал...

Но я его оборвал и сказал, что люблю Зою, и это чувство окончательное и бесповоротное.

Дядя схватился за голову:

– А как же Тася? Что я скажу твоей жене?

Я посоветовал сказать, что это любовь. Тася женщина, она поймет.

– Хорошенькое у тебя представление о женщинах, – проворчал Николай Михайлович. Потом он заглянул в мои расширенные зрачки, и зрачки эти натолкнули его на новую мысль.

– Все понятно, – сказал он торжествующе, – ты остался с Зоей, потому что она тебя привязала. Она дает тебе эту дрянь.

– Ерунда, – сказал я, – ничего подобного нет и быть не может.

Я не солгал, Зоя и правда не давала мне ту дрянь, о которой говорил Покровский, она давала мне другую дрянь, не менее въедливую. Одним словом, я все сказал дяде, взял свой чемодан и отправился жить к Зое.

* * *

Она встретила меня с радостью, но и с тревогой, которой я не ожидал. Я обнял ее и долго-долго держал в объятиях, а она вдруг сказала:

– Но как же твоя жена? Ведь ты ее бросаешь...

– Что ж, придется расстрелять меня по законам революционного времени, – вздохнул я.

Но Зоя шутки не приняла и сказала, что я непременно должен с Тасей поговорить. Я отвечал, что с женой отлично поговорит уполномоченный мною дядя. И это даже будет лучше, потому что дядя человек разумный и знающий обхождение. И если Тася с горя вдруг решит расцарапать мне физиономию, то поступить так с дядей ей даже в голову не придет.

Я, конечно, продолжал шутить, но на душе у меня лежал камень: теперь было ясно, что дело так просто не выгорит. Видимо, придется действительно ехать в Вязьму и говорить с Тасей. Боги, как все это было мучительно, и как мне этого не хотелось! Почему нельзя жить весело и легко, почему нельзя каждый день пить шампанское и есть черную икру? Почему если у тебя уже есть одна женщина, заводить других – непозволительная роскошь? А как же восточные набобы с их гаремами, когда довольны и те, и эти? Впрочем, говорить о набобах в период красногвардейской атаки на капитал, кажется, не совсем уместно. Но ведь люди-то хотят жить и любить, и не через сто лет, когда наконец настанет светлое будущее для всех пролетариев, а прямо сейчас.

Но все эти политические философствования не отменяли необходимости сделать решительный шаг. Пора было отправляться на разговор к Тасе.

– Хочешь, поеду с тобой? – предложила Зоя.

Я отказался наотрез. Хорош муж – уехал с болезнью, а вернулся с любовницей. Мне казалось, что если не показывать Зою Тасе, все может пройти как-то легче, проще. Может быть, вообще не говорить ей, что у меня появилась другая женщина – ведь это оскорбительно! Просто сказать, что наши отношения исчерпали себя... Хотя как, помилуйте, они могли исчерпать себя за неполные пять лет?

Если бы я был пролетарий, я бы подвел подо все философскую базу. Сказал бы, предположим, что мы расходимся, поскольку стоим на разных идейных платформах. К примеру, я на монархической, а Тася на мелкобуржуазной. Но вся-то и сложность была в том, что Тася ни на какой платформе не стояла, точнее, стояла на той, на которой стоял я. И если бы завтра я вдруг перешел с монархической платформы на социал-революционную или даже большевистскую, Тася бы тоже следом за мной стала эсеркой или большевичкой. Нет, как сказали бы индусы, видно, в прошлой жизни я сделал что-то непристойное, раз меня теперь так влечет к разврату и женщинам. А

коли так, придется избывать эту карму всеми возможными средствами.

* * *

Через два дня я вышел из дома и направился на вокзал. Решил даже чемодана не брать, но Зоя настояла.

– Возьми, – сказала она, – неизвестно, как дело сложится. Сейчас такие поезда – до Вязьмы можно неделю ехать.

И в самом деле, наступление эпохи военного коммунизма на поездах сказалось совершенно отвратительно. В лучшем случае они безбожно опаздывали, в худшем – совсем не ходили. Зоя хотела проводить меня на вокзал, но я категорически отказался. День клонился к закату, и я не желал, чтобы она возвращалась домой вечером в темноте. Это было и холодно, и очень опасно. Когда становилось темно, на улицы выходили мешочники и уголовные элементы.

Мы обнялись на прощанье, и она прильнула к моим губам. Поцелуй был жаркий, закружил мне голову. Но вместе с поцелуем этим в сердце мое вползла какая-то отвратительная безнадежная тоска, как будто я целовал Зою последний раз в жизни.

– Не волнуйся, милый, и возвращайся поскорее, – шепнула она мне.

Я вышел на улицу и помахал ей: она стояла в окне, и вид у нее был печальный, хотя она и улыбалась. Вернись, безумец, куда ты уходишь от своего счастья, сказал кто-то внутри меня. Забудь про все – про долг и приличия, про нужду и необходимость, и будь рядом со своей судьбой, со своей любовью!

Но я не послушал умного голоса – надеялся, что все обойдется. Думал, что не пройдет и пары дней, как я вернусь обратно, и вот тогда мы больше никогда не расстанемся и всегда будем вместе.

На улице я неожиданно увидел двух родственников: дядю Николая Михайловича и другого дядю – Михаила Михайловича. Вид у них был одновременно решительный и смущенный.

– Что вы здесь делаете? – спросил я, но тут же сам и догадался. – За мной пришли? Поздно, поздно, я уж и сам возвращаюсь.

И указал на свой чемодан. Услышав мои слова, оба дяди немедленно повеселели. Разумеется, им совсем не улыбалось силком тащить взбесившегося племянника из Москвы в Вязьму. Вероятно, пришлось бы задействовать свои врачебные связи, науськать на меня каких-нибудь чекистов, чтобы те под видом борьбы с контрреволюцией и саботажем арестовали бы меня и доставили прямо в лоно семьи. И действительно, меня вполне можно было считать саботажником на семейной ниве. К жене я возвращаться не хотел, а хотел жить с любовницей: если это не саботаж, то уж и не знаю, что тогда называть саботажем.

– Сам посуди, голубчик, могли ли мы оставить это дело просто так? – примирительно заговорил Николай Михайлович. – Ведь вы, как ни крути, с Тасей венчанная пара. Что бы мы сказали сестре нашей, а твоей матери Варваре Михайловне? Не уберегли, выходит, ребенка, совсем с катушек съехал, от жены ушел.

– Ах, дядюшки, вы тут совсем ни при чем, с катушек я съехал задолго до вас, – заметил я. – Но все равно, за заботу спасибо. Кстати, как же это вы собирались меня брать, неужто голыми руками? Надо было хотя бы мешок с собой прихватить и палку потяжелее. Неудобно как-то получается, что я, племянник, учу вас, многоопытных дядек, как возвращать мужей женам. К вашим годам такие важные вещи надо бы знать самим.

– Не нужно нас учить, мы сами кого угодно поучим, – отвечал Михаил Михайлович. – Мы хотели с тобой сначала последний раз поговорить, попробовать вразумить, а потом уже и в мешок.

Но я повторил, что они опоздали и с вразумлением, и с мешком, я уже еду к жене сам, по доброй воле. Я решил пока не говорить, что в Вязьму еду только чтобы объявить Тасе об уходе: не хотелось

огорчать добрых дядюшек моих. Пусть лучше печальную новость узнают от кого-нибудь другого, а не прямо из моих уст.

Дяди на радостях решили проводить меня прямо до поезда. Напоследок от чувств долго прижимали к родственной груди, желали семейного счастья и здоровья, так что мне даже сделалось перед ними немного совестно.

* * *

До Вязьмы я, как и следовало ожидать, доехал с приключениями. Но подробнее об этом как-нибудь в другой раз. Скажу только, что ночью дьявольски простыл в холодном поезде, до дома еле добрался и тут же слег в лихорадке. Болел тяжело, дело отягощалось моей безумной тягой к дурману. Был так слаб, что Тася не хотела мне его давать, и я мучился вдвойне – от лихорадки и от зависимости. Тася поначалу очень боялась, что это тиф, но это был не тиф.

Немного окрепнув, стал думать, как подступить к Тасе с моим уходом, но тут пришло письмо от брата Николая из Киева. Брат писал, что мать наша тяжело больна и если не отправиться туда прямо сейчас, можно даже не успеть с ней проститься.

Поскольку от военной повинности меня освободили, мы с Тасей вольны были ехать куда угодно, хоть в Киев, хоть в Москву. И хотя сердце мое рвалось к Зое, но как можно было бросить мать и всю семью в такой тяжелый час? Скрепя сердце, принял решение ехать к матери в Киев. Надеялся, что потом, когда все прояснится, можно будет сказать все Тасе и уехать в Москву. Что будет делать Тася, оставшись одна в Киеве в разгар гражданской войны, об этом я как-то не думал.

В конце февраля мы покинули Вязьму и не помню в каких числах марта были уже в Киеве. На вокзале никто нас не встречал, чему я немного удивился и даже испугался – не опоздали ли мы. Однако

дома нас встретили братья, сестры и здоровая, хотя и несколько обеспокоенная мама.

– Так ты уже выздоровела? – спросил я с удивлением.

Выяснилось, однако, что мама и не думала болеть. Но как же письмо Коли, что это значило? Оказалось, что никаких писем брат мне не писал. Я никак не мог в это поверить. Тогда Никол потребовал показать письмо, чтобы сличить почерк. Но письмо я, как назло, где-то посеял.

Потом я долго думал, откуда же взялось письмо и кто мог его написать. Наконец догадался, что писал его никто иной, как хитроумный дядюшка Николай Михайлович. Видно, после моего отъезда он все вызнал у Зои и решил написать письмо от имени Николки, чтобы таким образом увезти меня подальше от Москвы и от моей любви и сохранить нашу с Тасей семью. Поняв это, я только подивился азиатской изощренности дядюшки, но держать на него обиду не имел уже сил.

Как бы там ни было, уезжать обратно сразу в Москву не было никакой возможности, это смотрелось бы уж совсем дико. Решил подождать для приличия хотя бы пару недель. Но по прошествии этих недель был так захвачен своей злосчастной болезнью, что сил у меня почти ни на что не оставалось.

Надо сказать, от зависимости меня все-таки спасли. Нашелся врач, они с Тасей придумали интригу: давать мне не чистую порцию дурмана, а понемногу разбавлять ее, день за днем снижая концентрацию. И способ этот, как ни удивительно, подействовал.

Теперь совершенно спокойно я мог ехать в Москву, вот только сделать этого было нельзя. Война дошла до нас, и власти сменялись, как в чехарде: гетман, немцы, Петлюра, большевики, белые – и снова, и снова, по бесконечному кругу. Пассажирские составы перестали ходить, ходили только военные поезда. Чтобы сесть на такой поезд, требовались особые документы, каких у меня не было и быть не могло. Да и опять же, не мог я бросить Тасю и всех остальных в такой тяжелый час. Надо было поддерживать друг друга

и как-то выживать. Я сказал себе, что соберусь в Москву при первой же возможности, а сейчас пока буду жить, как живется.

Жилось, впрочем, ужасно. Иной раз бывало так страшно, что казалось, не доживешь до утра. По улицам ходили пьяные бандиты с ружьями, посвистывали пули, любой поход в магазин или аптеку превращался в смертельную рулетку.

Денег не было совсем, зато город наводнили крысы. Были они наглые, в квартиры заходили, как к себе домой. Однажды взбесившийся грызун загнал меня на стол и бросался, желая укусить, я еле отбилась палкой. В другой раз крысы прорвались в дом и атаковали нас целой ватагой.

Крыс можно было понять: в городе сделалось голодно, отбросов никто не оставлял. Людям тоже приходилось несладко. Жена моя Тася распродала понемногу отцовское столовое серебро, тем и держались. Собирались с родственниками в складчину, у кого что есть. К счастью, муж сестры Вари, Карум, при всех властях ухитрился быть на плаву, так что средства у него имелись. Мы с Тасей без зазрения совести брали у него в долг. По-хорошему, надо было бы растянуть деньги на некоторое время, но после всех испытаний ужасно хотелось радости, праздника. Так что покупали мы на Карумовы деньги вино и икру, французские булки и масло, устраивали пирушки. Карум, разумеется, был недоволен, говорил Варе, что мы едим и пьем, а денег не отдаем. Но как же, помилуйте, отдавать деньги, ведь для того они и берутся, чтобы есть и пить!

Я завел врачебную практику – пока небогатую, но какие-то средства дает. Хозяин дома, Листовничий, живущий на первом этаже, сильно моей практикой расстроен. В основном ко мне ходят проститутки и венерические солдаты, Листовничий трепещет, что они походя развратят и изнасилуют его молодую дочь. Разумеется, он бы хотел, чтобы ко мне ходили только матери семейств и университетские профессора, но тогда, боюсь, мы с Тасей окончательно померли бы с голоду.

Как-то раз во всей этой круговерти меня даже силой мобилизовали синежупанники. Им было все равно, врач ты или кто другой, на пушечное мясо любой сгодится. Думаю, к этому дню давно бы уже гнил я в безымянной могиле, если бы не плюнул на честь и прочие предрассудки и не сбежал от них самым решительным образом.

Когда-нибудь кто-нибудь напишет об этих странных и страшных временах. Иногда мне кажется, что таким человеком мог бы быть и я, но на это не надеюсь и даже не думаю об этом пока. Довольно уже и того, что жизнь продолжается и встает новое утро, а что там будет через месяц или год – этого никто не знает, не исключая самого Вседержителя, который, кажется, закрыл лицо свое от наших бесчинств.

Здесь много литераторов, в том числе и московских, и петроградских, есть и ученые. Они бежали сюда от голода и холода, бежали, надеясь укрыться в мирном теплом Киеве, где цветет по весне белая, как невеста, вишня и Днепр по-прежнему величаво несет свои могучие волны, разделяя город на две части. Тут образовалась даже академия, не говоря уже о многочисленных поэтических вечерах и спектаклях. Президентом академии стал Вернадский, надо бы почитать что-нибудь из него.

* * *

К осени 1919 года меня все-таки мобилизовали, но это уже были белые. Напялили на меня френч, надели шинель и погнали во Владикавказ. Тася плакала, провожая меня, боялась, что убьют. Через месяц я ее вызвал, она ко мне приехала. Был я, к счастью, не офицером на передовой, а служил по специальности, то есть врачом. Позже меня отправили в Грозный, потом мы жили некоторое время в Беслане.

Нормальной жизни нигде не было, все время приходилось изворачиваться и юлить, пытаюсь выжугить у власти и уполномоченных ею лиц хотя бы кусок хлеба. Всерьез занялся литературой, написал даже несколько пьес, которые ставили в местных театрах. Ничего более ужасающего по наглости и бездарности, чем мои пьесы, мир не видывал. Однако туземцы, кажется, довольны: подходят, жмут руку, говорят, что пьеса прекрасная – тьфу! Впрочем, есть у меня одно оправдание – всякая тварь хочет жить, и литератор не исключение. А что пьесы можно было бы писать и получше, об этом я знаю сам, вот только кому сейчас нужны хорошие пьесы? Здесь вам не Художественный театр и не Антон Чехов, здесь военный коммунизм и гражданская война. Впрочем, спустя некоторое время понимаешь, что гражданская война с тех пор прочно укрепилась у нас в обществе, и каждый хочет затоптать каждого. В этих условиях, конечно, чем бездарнее искусство, тем больше у него шансов прокормить своего создателя.

Иногда в надежде поправить свои дела играл на бильярде – обычно продувался с треском. Однажды до того дошло, что в Ростове заложил Тасину золотую браслетку, которую брал на удачу. По счастью, встретил двоюродного брата Константина, отдал ему квитанцию, просил браслетку выкупить.

Как-то раз чуть не расстреляли меня красные, другой раз едва не был убит то ли ингушами, то ли осетинами. Вспоминать об этом сейчас не хочется, дело совсем неприятное, даже учитывая то, что все-таки не убили. После контузии обзавелся чем-то вроде нервного тика – вот тут, как ни странно, очень пригодился наш разговор с Загорским. Благодаря его массажу смог я более-менее привести себя в норму, хотя иной раз, бывало, по-прежнему внезапно дергал рукой и корчил рожи.

Впрочем, если отбросить постоянный голод и скитания, можно сказать, что жили по-своему весело, а я так и вовсе приобрел бесценный опыт. Общался и с казачьими атаманами, и с генералами, в том числе с белым генералом Гавриловым. Когда выпьют, атаманы

эти становятся совершенно литературными персонажами, как их в романах и пьесах изображают, а, впрочем, и трезвые ненамного лучше.

В Батуме на улице встретил поэта Мандельштама с женой. Он известен был как акмеист-адамист еще до революции. Расспрашивал его, как можно опубликоваться в Москве, кому слать рукописи. Мандельштам, человек опытный, отвечал, что никому ничего слать не нужно, а надо самому ехать в столицу и брать редакторов и издателей за рога. Как ни странно, разговор этот вдохнул в меня надежду, и я засобирался в Москву, где и оказался в конце сентября 1921 года.

Однако за несколько месяцев перед тем дошла до меня страшная весть. В Зоинной квартире, где держала она свой поэтический и музыкальный салон, случилась какая-то уголовщина, и Зоя попала под следствие. Это ужаснуло меня. Мысль о том, что любимая женщина сидит в холодных подвалах уголовки, была мне невыносима. Усугублялось мое настроение тем, что я сам ее бросил на произвол судьбы, а если бы остался, возможно, беды удалось бы избежать. Я не знал, что именно там случилось – убийство, или обвинили Зою в содержании притона, а то ли и то, и другое – но дело было серьезное. Впрочем, поэты, которых я видел, вполне могли устроить там и притон, и еще чего похуже: притон делался там, куда они приходили хотя бы на полчаса. Что же касается убийства, то об этом даже и думать я не мог. Впрочем, и это было возможно, потому что много шныряло вокруг темных личностей, один подпольщик и пианист Буренин чего стоит. Его привычка к террору и бросанию бомб, похвальная при самодержавии, при советской власти выглядит совершенно неуместной и наверняка рано или поздно скажется на окружающих самым печальным образом. А Аметистов? Разве достоин доверия человек, который надевает под визитку клетчатые брюки, в то время как визитка носится только и исключительно с полосатыми? Там же околачивался торговец пряностями с ангельским лицом,

пресловутый ходя Херувим. Вместе с ним в дом вполне могли проникнуть бандиты и грабители.

Впрочем, гадать, как все случилось, было бесполезно, надо было что-то предпринимать. Сам я в Москву тогда поехать не мог, да и пользы от меня в этом деле было, как от козла молока. Что я мог сделать? Ничего. От отчаяния я даже запил, но в редкий момент просветления пришла мне в голову блестящая идея. Я решил написать личное письмо председателю Совнаркома Ульянову-Ленину. Немного выпив для храбрости, я сел писать. Письмо вышло примерно такое – цитирую по памяти.

«Дорогой Владимир Ильич.

Вы меня не знаете, но я о Вашей деятельности прекрасно осведомлен. Я бывший венеролог, ныне вставший на путь исправления и пишущий революционные пьесы с пролетарским уклоном. (Этот последний пассаж, по моему мнению, должен был растрогать главного большевика).

Я женат, но, к несчастью, оказался неверен своей жене – Вам, как мужчине, это должно быть понятно и близко. Я люблю и уважаю свою Тасю, но я люблю и другую женщину – Зою Денисовну Пельц, которую недавно арестовала милиция за содержание притона и другие ужасные преступления. Как человек, почти стоящий на платформе^[11], могу заявить совершенно ответственно, что ничего этого не было и быть не могло. А если что-то и было наверняка, так это подрывная деятельность криминальных элементов вроде гражданина Аметистова, непрерывно говорящего на очень плохом французском языке и поющего удивительные по своему безобразию арии, китайского торговца опиумом по имени Херувим и ряда дурно воспитанных поэтов. Кроме того, к делу может иметь касательство и называющий себя тапером и большевиком гражданин Буренин, раскрывший государственную тайну, что наше с Вами светлое будущее – это советская власть плюс электрификация всей страны. (Это он говорил еще до того, как Вы объявили курс ГОЭЛРО).

Прошу дать указание всех вышеупомянутых граждан немедленно арестовать и начать в их отношении расследование, а гражданку Пельц, которую я люблю больше жизни, отпустить на все четыре стороны, поскольку упомянутая гражданка при всем желании не могла сделать ничего предосудительного, чему лично я неоднократно был свидетелем.

Уважающий Вас беллетрист М. Булгаков».

Когда я дописал письмо, на улице уже пришла ночь, и я решил отправить его утром, на свежую голову. Однако утром, немного протрезвившись, я перечитал написанное и пришел в ужас. Думаю, что мой пьяный бред, дойди он до вождя, смог бы произвести на Ленина эффект посильнее, чем выстрелы в голову, сделанные гражданкой Каплан. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и Ильич просто посмеялся бы над такой явной глупостью, а еще прочитал бы мое письмо на съезде, и я стал бы посмешищем для всей страны.

Я изорвал письмо в клочки, а остатки сжег на свече. Однако мысль о Зое не оставляла меня. Несколько дней я безуспешно ломал голову, и вдруг меня осенило: да ведь прямо там, под лестницей, живет сыщик, загадочный Нестор Васильевич Загорский! Если он не поможет в этом деликатном деле, то не поможет и вовсе никто.

Я списался с дядей Николаем Михайловичем и слезно просил его отправиться с визитом к Загорскому и от моего имени попросить, чтобы он спас несчастную Зою от жестоких следователей НКВД. В конце концов, гражданская война все еще шла, а это значит, что Зое могли назначить любое наказание, вплоть до расстрела.

В последующих событиях я участия не принимал, и писать о них мне придется со слов непосредственных свидетелей. Но, однако, для ясности надо будет сначала окунуться в недалекое прошлое еще до того, как Зоина квартира была уничтожена, а сама Зоя попала под следствие.

Итак...

Глава третья

Графские сокровища

О, как холодно, как нечеловечески холодно! Снег скрипит под подошвой, воздух стынет на лице, леденеет и ломается на зубах. Может, впрочем, это и не воздух, конечно, может, просто лед с заиндеветавшей бороды и усов. Граф Обольянинов, топтавшийся сейчас в темной подворотне, давно забыл, когда брился в последний раз – некогда, да и ни к чему: в бороде теплее, если, конечно, она не засыпана снегом.

Холодный воздух, как яд, проникает в больные бронхи, выворачивает их наизнанку, сотрясает от приступов кашля. Воздуха все меньше, он уже не входит в легкие, еще немного, и задохнешься от ледяной, смертельной пустоты.

– Отравлен хлеб, и воздух выпит: как трудно раны врачевать... – рифмованные строки приходят откуда-то с черного неба, они стонут, плачут, и стонет и плачет с ними граф. Плачет как ребенок, не стесняясь своей слабости.

Как, как этот жизнерадостный адамист, этот еврей Мандельштам мог еще семь лет назад знать, что случится с графом, что будет с ними со всеми? «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать...» Истинно, не мог. Все они теперь ветхозаветные иосифы, все попали в страшный египетский плен к большевикам. Кто выведет их отсюда, кто спасет? Никто не выведет, никто не спасет. Одна надежда была – на верховного правителя России адмирала Колчака, но и того расстреляли в иркутском феврале, таком же морозном, как нынешний московский декабрь. Расстреляли без суда и следствия, как бешеного волка.

И он, граф, теперь как этот волк, но волк одинокий, без стаи. Ах, белая стая, где растворилась ты? Погибла в жарких боях на Восточном фронте, сожжена пулеметным огнем в кубанских степях,

потоплена в священных водах Севастополя, изнемогает от тоски по дому на холодных стокгольмских проспектах.

И раз стая его перестала существовать, то и сам он больше не волк, а собака, но не бешеная даже, а смиренная, любому готовая за кусок хлеба руку лизать... тут граф встрепенулся. Нет, господа большевики, нет, даже не надейтесь! Это ложь, не готова эта собака, а точнее, этот граф лизать руки кому бы то ни было, и лучше он умрет с голоду, чем унижится. Так вот, милостивые государи, так и никак иначе!

После этой мятежной мысли Оболянинов почувствовал себя лучше и даже немного воспрянул духом. Однако длилось это недолго. А все потому, господа, что есть вещи пострашнее голода. Когда в дикий мороз нет крыши над головой, вот тогда становится ясно, что такое настоящая адская мука. Не зря в «Божественной комедии» Данте поселил своего Сатану не в банном чаду адских сковородок, а в стынувшей ледяной преисподней.

Когда-то, так давно, что и не упомнить, четыре или пять лет назад, выходил граф в московскую зиму, распахивал на себе жаркую горностаевую шубу, прыгал в сани, и тройка мчала его в «Эрмитаж». Пулярки, икра, жареные лангустины, артишоки в шампанском, седло барашка и фирменный салат от мсье Оливье с рябчиками... Ах, Россия, которую мы потеряли! Граф зажмурился и прямо почувствовал, как сок от рябчиков потек по подбородку. Впрочем, нет, это был совсем не сок. Кель скандал^[12] – голодный граф пустил слюни, как последний младенец!

Но кто обвинит Оболянинова – он не ел со вчерашнего вечера. Да и то, что он ел, не шло ни в какое сравнение ни с пулянками, ни даже с простой жареной курицей. О, этот пайковый хлеб, ни консистенцией, ни вкусом почти не отличимый от глины! Поэт Хлебников мечтал когда-то, что человечество сможет не растить хлеб, а есть сразу землю. И вот, кажется, мечты его сбылись. Уму непостижимо, как и из чего можно готовить такую субстанцию, да еще после этого называть ее хлебом!

Впрочем, и такого хлеба нет нынче у бедного графа. Его сняли с учета и выгнали из каморки, которую он занимал на правах дворника. Из собственного поместья его выперли уже давно – как нетрудовой элемент и махрового аристократа. К счастью, случилось это летом, так что он некоторое время мыкался по паркам и вокзалам, пока случайно не встретил своего бывшего крестьянина, Антипа, который при новой власти сумел устроиться в жилконтору. Крестьянин был хитрый, как и все крестьяне, но, в отличие от прочих, добрый и помог бывшему помещику.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

АНОНИМЫС



ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК
МИХАИЛА
БУЛГАКОВА

Примечания

1

Je vous salue! (фр). – Приветствую вас!

[Вернуться](#)

2

Entre nous (фр). – Между нами

[Вернуться](#)

3

Cher ami (фр). – Дорогой друг.

[Вернуться](#)

4

C'est une provocation (фр). – Это провокация.

[Вернуться](#)

5

Rien de plus (фр). – Ничего более.

[Вернуться](#)

6

Mon ange (фр). – Ангел мой.

[Вернуться](#)

7

Hallucination (фр). – Галлюцинация

[Вернуться](#)

8

Сивиллы – в древнегреческой традиции пророчицы, предрекавшие будущее.

[Вернуться](#)

9

Didi-gugu (кит) – звукоподражание, означающее «бормотать, лепетать неизвестно что».

[Вернуться](#)

10

Херувим имеет в виду, что Ганцалин не знает ни шанхайского диалекта, ни общеупотребительного мандаринского, а говорит на каком-то непонятном наречии, которое Херувим даже не может атрибутировать как китайский диалект и потому подозревает, что Ганцалин – японец.

[Вернуться](#)

11

Стоять на платформе – придерживаться определенных взглядов. В раннесовесткие времена это обычно означало, что человек не

является членом коммунистической партии, однако в целом разделяет ее идеологию.

[Вернуться](#)

12

Quel scandale (фр). – Какой скандал.

[Вернуться](#)